



М. ШАГИНЯН

Еще о «Вехах»¹

«Вехи» вышли вторым изданием². Существенных поправок в них нет, отдельные примечания (их очень немного) все более или менее домашнего свойства. Так, Бердяев мимоходом определяет создавшуюся вокруг «Вех» полемику, Гершензон объясняет смысл своей «знаменитой» фразы по поводу штыков³ и т. д. То обстоятельство, что «Вехи» выпущены вторым изданием без всяких изменений по существу, а немногие подстрочные примечания и еще более оттенили их непримиримый, стойкий характер, говорит к чести составителей сборника.

«Вехисты» прошли сквозь непрерывный свист левой печати, сквозь недружелюбную холодность центра и компрометирующие аплодисменты «Нов<ого> времени»⁴, не испугавшись ни обвинений одних, ни одобрений других. Большинство и вовсе не пожелало отвечать на всякого рода полемические вызовы, а те, кто отвечает — Струве и Франк⁵, — делают это с неохотой и почти по принуждению. Объясняется это двумя причинами: во-первых, вехисты твердо уверены в своей правде, выносят ее честно и мужественно на своих плечах, а, во-вторых, полемизировать не с кем и не из-за чего.

Печать проглядела «Вехи», если и била, то невпопад, и этим не столько умалила трудное дело вехистов, сколько растушевала его вкривь и вкось, так что неосведомленному читателю, прослышавшему о «Вехах», среди поголовной шумихи и не разобрать, в чем дело. Кто кого обвиняет? Что случилось? А, бьют интеллигенцию, погром! Защищайтесь! И все принялись защищаться от воинственной будто бы атаки «Вех». Такое истерическое отношение к книге хорошей (признаемся в этом спокойно), к книге всем нам нужной, полезной, к книге искренней и мужественной — по меньшей мере странно. И, конечно, тут виновата печать, взволновавшаяся с легкой руки

Мережковского⁶ не в меру, а главное — необдуманно, не разобрав хорошенько, в чем дело. Была тут, впрочем, и доля сознательного *laisser faire*⁷, чтобы за всеобщей аффектацией отдалить, если не совсем припрятать те необходимые разъяснения и показания, к которым настоятельно призывают «Вехи». Вместо покаяния — интеллигенция «обиделась», спряталась в свою обиду, а печать постаралась раздуть ее на все лады и всеми способами.

I

Прежде чем заговорить о «Вехах», нам надо в двух словах упомянуть о последних по поводу «Вех» выступлениях в печати. Такое уж создалось ненормальное положение дела, что без некоторых разъяснительных разговоров с читателем теперь о «Вехах» и слова сказать нельзя.

Ведь, кажется, чего проще — иметь перед собой книгу и судить о подлинной ее физиономии не по тому, что говорят о ней Иванов или Петров, а по тому, что непосредственно в ней содержится. И, однако, подобная простота неприемлема ни читателю, ни тем менее журналисту. Ведь вот уже третий месяц только и слышишь, что категорические обвинения «Вех» в возврате к славянофильству и западничеству, обвинения самые общие и самые убедительные. И, однако, вот что говорит Булгаков⁸, наиболее искренний и видный из вехистов: «...во всяком случае теперь... невозможны уже как наивная, несколько прекраснодушная, славянофильская вера, так и розовые утопии старого западничества». Чему же верить? Тому, что говорят о «Вехах», или тому, что говорят «Вехи»? Или на языке сегодняшних критиков всякая попытка определять характерные черты русской интеллигенции, условная национализация характерных признаков — есть уже славянофильство, а призыв к выработке здорового культурного, трудоспособного типа среднего интеллигента — звучит как западнические идеи? Или что значит, например, такое рискованное злорадство Ник. Иорданского в «Современном мире» (май)⁹: «Их (т. е. составителей сборника «Вехи») связал в уродливый узел дух злобы против русской интеллигенции». И это после горячего убедительного предисловия Гершензона: «Статьи, из которых составилась настоящий сборник, писаны с болью за прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны». После прекрасных слов Булгакова: «Мне может быть сделан упрек, что я произношу здесь

суд над людьми самоотверженными, страдающими, гонимыми, по крайней мере я сам не раз задавался этим вопросом, но независимо от того, сколько бы низко ни думал я о себе самом, я чувствую обязанность (хотя бы в качестве общественного «послушания») сказать все, что я вижу, что лежит у меня на сердце, как итог всего пережитого, пережитого, передуманного относительно интеллигенции, это повелевает мне чувство ответственности и мучительная тревога и за интеллигенцию и за Россию».

Это ли «дух злобы»?

Нет, нам надо просто и честно признаться, что всякие такие выкрики о «духе злобы» не соответствуют правде, умышленно ее извращают.

«Вехи» не против нас, они с нами; мало того, они — это мы сами, только заговорившие вслух, протершие себе глаза. Вехисты никого не судят, они прежде всего каются, и вся их проповедническая роль заключается в этом призыве к покаянию, в сознании того, что дальше так, как теперь есть, — продолжаться не может.

Будемте хоть раз, хоть в затруднительную для нас минуту, откровенны. Ну разве можно жить так, как мы сейчас живем? Нет, нельзя. Кто станет отрицать, что от всех наших идеалов, еще очень недавних, осталось только вчерашнее брожение, больше по инерции, нежели по нашей свободной воле. Кто не согласится, что сегодняшняя неразбериха нам ест глаза уже не просто дымом, а подлинным угаром; и если поглядеть со стороны на нашу бесформенную и безыдейную стычку меж собой, наш постепенный развал во все концы, беготню взад и вперед без определенного сознания, где «вперед», а где «назад», — то мы и впрямь покажемся угорелыми. И об этом говорят уже давно, говорят больше, чем слушают. Заговорили и «Вехи»; но вместо того, чтобы, по примеру своих предшественников, напасть на современное «готтентотство» и т. д., «Вехи» вдумались в его причины, и не вчерашние, не ближайšie, видимые причины, а в органические, лежащие в самом духе русской интеллигенции. И в этом, что вехисты приняли на себя ответственность, расписались в заблуждениях своих и ошибках, а не ограничились безмолвным и согласным «киванием на Петра», — в этом их громадная, мужественная заслуга перед нашим временем в частности, перед русской интеллигенцией в особенности.

Отчасти я понимаю причины того шума, которым печать со всех сторон оглушила и оглушает «Вехи». И хотя Кизеветтер в «Русской мысли»¹⁰ указывает на естественность подобного

шума, именно вследствие назревшей «интеллигентской проблемы» и необходимости того или иного ее разрешения, но я думаю, что шум мог бы и не носить такого характера, мог бы принять оттенок нормального и во всяком случае существенно-го препирательства. Виновником теперешнего положения дела я считаю Мережковского. Мне понятно, почему он «повел кампанию» против «Вех». Вехисты, с одной стороны, выступили с резкой и категорической критикой освободительного движения, признавая его уже (и надолго) законченным, с другой — вслух, настоятельно заговорили о религии. В то время как интеллигенция только-только, с большим для себя преодолением конфузливости, задумалась о Боге — этому религиозному брожению (осторожно и с большим тактом возбуждаемому и поддерживаемому Мережковским) встали на пути «Вехи», с их отповедью «революции» и призывом к Церкви. Грудь кормилицы, к которой потянулся ребенок, смазали горчицей — так негодовал Мережковский по адресу «Вех» в «Речи».

Но, думаю я, тут большая ошибка, ошибка, допущенная от страха. Если бы интеллигенция была младенцем, которому очень тихо и осторожно, путем всяких диалектических подвохов, надо было бы внушать, что реакция и религия не одно и то же, а совсем разное, качественно несхожее, то ведь тогда пришлось бы вернуться вспять и мечтать не о перерождении, не об идейном сплочении интеллигенции, но только о воспитании ее, об усвоении ею первых азбучных истин. Однако интеллигенция все же не такой ребенок, и стыдно разжевывать и класть ей в рот готовую пищу. Пусть жует сама и разбирает, что именно жует.

С другой стороны, ничего реакционного в прямом смысле я в «Вехах» не вижу. Ведь результаты освободительного движения у всех нас на глазах, «Вехи» только обосновывают и формулируют эти результаты. В практической своей программе тоже ничего реакционного они не высказывают. Или реакционность заключается в том, что «Вехи» откровенно обрывают прежнюю политическую мелодию, которая всем нам прожужжала уши, поется без начала и без конца уже который десяток лет и кроме плачевных и очень многозначительных для нас своей плачевностью результатов ничего не приносит?

Сперва освободимся, а потом исправимся. Однако мы освободиться покушались, и такие, как мы сейчас, — на всех пунктах потерпели мы поражение. Неужели еще не ясно, что в старой мелодии что-то детонирует, что-то ненастроено. Или мы приучили ухо к диссонансу? Очевидно теперь другое: сначала исправимся и это поведет нас к освобождению.

Обыкновенно у нас, в России, такую фразу произносить не принято. Она звучит, как наивный голос Марии Антуанетты по адресу голодной парижской черни: «Бедняжки, они хотят кушать? Но отчего же им не дадут булочек?» Однако подобный такт хорош, если он идет изнутри, обуславливается острым ощущением боли за человека. У нас же придерживаются его формально, он возведен в правило. И такт этот, как правило, — надо преодолеть из любви к интеллигенции и ее будущему. «Вехи» на свой страх и риск преодолевают эту формальную тактичность.

Не могут быть реакционны те средства, которыми пытаются вехисты вылечить интеллигенцию. Рецепт их не сложен и во всяком случае не двусмыслен: развитие творческой, производящей стороны личности взамен прежних, «распределительных» ее свойств, привитие любви к чистой, а не утилитарной истине (Бердяев); воспитание трезвой и подлинной религиозности при помощи живого общения с церковью, развитие подвижнической психологии взамен бесплодной и внежизненной героической (Булгаков); оздоровление молодежи (Изгоев); самоуглубление, самосознание, необходимое для идейного всесознания, гармоническое сочетание волевых актов с сознательными, равномерное развитие и укрепление личности (Гершензон); замена бесфундаментного, проваливающегося на каждом шагу морализма религиозным гуманизмом (Франк); укрепление правового значения личности в интеллигентском сознании, проникновение в формальную ценность права (Кистяковский). Такова программа вехистов. Мы должны признаться, что реакционно в ней мало. Согласитесь, что нельзя, вяло возмущаясь тем, что есть, оправдывать этим возмущением свое безделье. Нельзя изо дня в день жить не в комнатах, а в коридоре, откладывая настоящую жизнь на неведомое «завтра», — это величайшее заблуждение. Россия с 1905 года и по эти дни живет в коридоре. Взад и вперед бегать бесцельно, за прежнее взяться нельзя — это всем видно, что в прежнем чего-то не доставало, — зажмуривать глаза на собственный опыт нельзя, не считаться с ним тоже нельзя. Что ж делать? Критиковать, отчаиваться и возмущаться? Это хорошо при наличии общего действенного принципа, во имя которого критикуешь и возмущаешься. Но такого принципа нигде не видно. А «Вехи» говорят, доказывают, призывают. Хорош ли, дурен ли, у них есть свой фундамент, есть на чем строить.

Когда я читал<a> «Вехи», мне было радостно на душе: нет, не умерла русская интеллигенция, вот у нее какое сердце и

какой разум, вот как сумела она покаяться; а заговорили апологеты интеллигенции — и за нее страшно стало. Неужели опять наваждение, неужели перекричат эту скромную и ценную книгу, неужели не дадут нам раскаяться и научиться? Все это в сторону критиков «Вех», теперь же мне хочется поговорить несколько подробнее и о самой книге.

II

Говорят о вопиющих противоречиях, допускаемых у себя «Вехами». Формально это, конечно, справедливо. Попадается целый ряд положений, взаимно друг друга исключających: интеллигенция религиозна, интеллигенция атеистична; интеллигенция живет вне дома, вне своей личности, ее целиком поглотила общественность, интеллигенция мастерски разработала психологию личности, но до сих пор живет вне подлинной общности; интеллигенция все меряет аршином общественной пользы, интеллигенция к общественным законам подходит с критерием личного, морального настроения; интеллигенция живет общими формулами в ущерб индивидуальным побуждениям, интеллигенция личным побуждениям приносит в жертву правовые нормы и т. д., все самые решительные, самые непримиримые антиномии. Казалось бы, зачем людям собираться под одну обложку и под общее заглавие, для того чтоб взаимно уничтожать друг друга. Но так кажется с первого взгляда, и критикам, при минимуме добросовестности, нужно было бы понять сущность кажущейся этой антиномичности. Я приведу слова Булгакова: «Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь, и противоречивые чувства в себе возбуждает». — Вот эта противоречивость русской интеллигенции и совмещает в себе, не сочетая, а лишь обостряя их, все те антиномии, которыми переполнены страницы «Вех». То, что «Вехи» противоречат самим себе, и определяет правильное понимание ими русской интеллигенции. Не только в разных плоскостях и с разных точек зрения правы вехисты, каждый по своему, — но и все они, в одну перенесенные плоскость, правы все сообща.

Именно вследствие антиномичности русской интеллигенции она сразу и атеистична и религиозна, сразу в одной плоскости, причем атеистичность ее и ее религиозность зачастую совмещаются в одной душе — борются и отталкиваются друг от друга, обостряя одна другую, но фактически не сливаясь.

В этой антиномичности и скрывается объяснение «бездомности» русской интеллигенции. «Бродячая Русь» — великолепно определяет Булгаков. Да, бездомная, бродячая Русь. Ни в ком и нигде нет такого отвращения к оседлости, как в русской интеллигенции, но это именно и является результатом «антиномичности», противоречивости ее души, не позволяющей усесться «ни там ни тут»¹¹.

Итак, противоречия «Вех» — смущать никого не должны, в них-то и заключается достоинство объединенного критического анализа. Легче и лучше с разных сторон вскрывать то, что, может быть, трудно было бы подметить со своего места.

Еще говорят, будто бы в «Вехах» собраны статьи, не имеющие между собой никакой преемственной или даже логической связи, за исключением общности темы. Ведь и сам Струве заявил, что сборника никто не редактировал и что некоторые из его участников не были знакомы со статьями своих будущих соседей вплоть до выхода книги. Это кажется почти невероятным. Во всяком случае, если не преднамеренная редакция, то счастливый случай установил, на мой взгляд, во всем сборнике такую тесную преемственную связь, что ни одной статьи из него выбросить нельзя. Даже в алфавитном (по фамилиям авторов) размещении статей, уже совершенно механическом, создалось что-то внутренне необходимое. Так, призыв Бердяева к научным обогащениям наравне с его критической оценкой роли интеллигенции в области чистого научного творчества проходит сквозь весь сборник для того, чтобы почти повториться в заключительной статье Франка.

Вот что последовательно и доказательно раскрывают «Вехи»: интеллигенция к научным завоеваниям, к чистому умозрению как таковому была неизменно равнодушна, примешивала ко всякой творческой работе утилитарную закваску, брала не то, что истинно, а то, что полезно. В ее отношениях к науке и искусству главную роль играл морально-утилитарный мотив, а философия служила не средством для объяснения, но средством для оправдания, была не критерием истинности, но критерием полезности того или иного. Величайших своих философов, Достоевского и Соловьева, интеллигенция проглядела, руководствуясь общим своим утилитарно-политическим настроением, заставлявшим видеть все в свете или «освобождения», или реакции, причем с точки зрения освобожденческой или реакционной и оценивались его труды, научные, философские, литературные. Достоевского «бойкотировали» за его правоту, но Тютчева и вовсе не читали (многие и до сих пор не читают)

за его реакционные слова. На чем же построен был этот утилитарно-политический мотив, что его обосновывало и что им вызывалось? С одной стороны, обосновывался он общим моральным принципом, понятием о добре и зле, бывшем для русского интеллигента превыше всех прочих понятий, с другой — правовым инстинктом. На практике утилитарно-политический мотив воплотился в психологию «героизма» и в постоянную безытийность, неустойчивость интеллигенции, в торжество стадных решений и стадных действий, в бегство от своего «я» к саморазрушению в общественности. Но моральный принцип, легший в основу утилитарно-политического мотива, в конце концов сам себя не обосновывает, ему не на чем установить самого себя. Вне Бога, вне определенного этического учения моральный принцип, прищипленный сбоку к экономическому материализму и вечной текучести политической жизни, как понятие «народного блага», такой моральный принцип, все собою расценивая, сам по себе есть фикция, его не существует.

Понятия бесправия, правового инстинкта тоже оказались висящими в воздухе. Русская интеллигенция в основе своей чужда подлинной, здоровой правовой государственности; право кажется ей чем-то вроде насилия, причем метафизическая сущность права (вне зависимости от данного его содержания) от нее ускользает и ею неприемлема. А без такого проникновения в формальную ценность права не может существовать никакого правосознания, точнее, никакой здоровой борьбы против бесправия. Там, где не выработана органическая вера в подлинную неприкосновенность права, всякое содержание права, будет ли оно насильническим или свободолюбивым, — превратится в бесправие благодаря определенному отношению к нему общества.

Героизм русской интеллигенции, сам по себе высокий и чистый, является философией смерти, философией самоубийства, а не жизни. Характеристика этого героизма так блестяще проведена Булгаковым, что я, не желая комкать ее в этих заметках, отсылаю читателя к самой статье Булгакова.

Итак, теория висит в пространстве, не имея под собой никакой твердой почвы, а практика приводит к самоубийству. Эту практику самоубийства исповедует в огромном большинстве наша молодежь, которая хранит и выращивает интеллигентские заветы. Однако послушаем жестокую правду Изгоева по поводу нашего студенчества; распущенность, лень, разгильдяйство, оторванность от подлинной общественной жизни, смутно-оппозиционная кружковщина, самоуверенность, равнодушие к

чистой науке, догматизм утилитарно-политический, насилие большинства над меньшинством и т. д.

Ясно теперь, почему освободительное движение оказалось несостоятельным. Именно несостоятельными оказались все его теоретические обоснования и психологические стимулы. Интеллигенция хотела того, чего не сознавала до конца, и не знала того, чего хочет. Лишенная прочной теоретической подготовки и практической выдержки, недисциплинированная, безбожная и мистически настроенная, нетерпеливая — она дошла до полной развинченности, до сегодняшней неразберихи, до тупика.

Так говорят «Вехи», и все мы, кому правда дороже спокойствия, должны признать убийственную критику «Вех», покаяние «Вех» до конца верными. И покаяться вместе с ними.

III

Мне остается сказать несколько слов по поводу тех противоречий, которые вскрыл А. А. Кизеветтер в статье Гершензона. Сущность замечаний Кизеветтера сводится к следующему: не привычка жить вне себя, вне своего «я», а, наоборот, постоянное и бесплодное самоуглубление, самокритика сделали из русского интеллигента то, что он сейчас есть; отучили его от правильной и здоровой общественности. И для того чтобы излечить русскую интеллигенцию, надо звать ее из этого разъедающего самоанализа к здоровой, действительной общественности. Только в ней и при ее помощи может переродиться характер русского интеллигента. Нельзя достаточно подчеркнуть справедливость замечаний Кизеветтера. Они ценны как новая критическая черта, могущая быть прибавленной ко всему сборнику «Вехи». Но такая самооценочность определений Кизеветтера отнюдь не уничтожает статьи Гершензона и не вскрывает в «Вехах» каких бы то ни было противоречий — она только дополняет «Вехи». В самом деле, тут опять одна из острых и наиболее непонятных антиномий русской интеллигенции. С одной стороны (и отрицать этого нельзя), вся она выбросилась из сферы личного в сферу общественного, устраивает жизнь свою наспех, словно на станции, все личное считает чуть ли не грехом, преодолевает личное всюду, где только можно его преодолеть. Гершензон и подходит к русской интеллигенции с этой ее стороны. Кизеветтер берет другую. В самом деле, что еще бросается в глаза при внимательном взгляде на русскую интеллигенцию? Нам стоит только припомнить типичнейших ее представите-

лей, воплотившихся в литературе, — у Достоевского, Толстого, отчасти даже у Чехова. Сколько самоанализа, сколько вечных «психологических» копаней в душе своей, сколько самоуглубления, монологов, а зачастую и диалогов с собственной своей душой. Весь центр сознания перенесен внутрь, на свое «я», на все его возможности, сомнения, недоумения. Всякий волевой акт отнесен к перифериям, возникает случайно, периферически, ни на минуту не заслоняя центрального внимания человека к своему «я». Метафизик Крýлова¹², упавший в яму и разбившийся в свойствах веревки вместо того, чтобы вылезти при ее помощи на свет Божий, может служить необыкновенно точной аналогией для характеристики интеллигентского нудного и пытливого резонерства.

«Наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевою жизнь», — говорит Гершензон. Но точно так же можно сказать, что самодовлеющее сознание наше за фалдочки держит чувственно-волевою жизнь и не дает ей ни на минуту ускользнуть из-под своего контроля. Там, где надо просто шагнуть, русский интеллигент поднимает ногу и сам с собою рассуждает: «А хорошо ли я сделаю, если шагну, а могу ли я еще шагнуть? Отчего у меня в душе эта неуверенность? И, наконец, куда именно надо мне шагнуть?» Стоит на левой ноге, балансируя правую в воздухе, и если шагнет, то какая это будет неуверенная, спотыкающаяся ходьба! Там, где немец пройдет в две-три минуты и глазом не моргнув, русский ступает часами и по дороге если не кончает самоубийством, то во всяком случае задумывается над мировыми проблемами. При таком самоистязании, лежащем в самой природе русской интеллигенции, немислима нормальная общественная жизнь. Для спасения общности при таком внутреннем состоянии необходим аффект. И вот интеллигенция аффекурует общественную жизнь, создает психологию героизма и из бесплодного самоистязания переходит в бесплодное самоубийство. Спасаясь от растворения в своем «я» — бежит в аффекурованную общественность и растворяется уже в ней. Две стороны одного и того же, самоистязующий анализ и аффекурованную общественность, и раскрывают Кизеветтер и Гершензон. Конечно, замечания каждого из них справедливы, и оба вместе еще более ценны, чем каждое в отдельности.

Признать факт покаяния и увидеть в нем благородство, ответить искренне кающемуся словами: «Ах, какой ты хороший, если каешься», — значит губить все дело покаяния, значит не

понимать исторической его важности или, еще хуже, — самому не проникнуться настроением покаяния. И теперь я удерживаюсь от того хорошего, что хочется мне сказать по адресу русской интеллигенции. «Бездомность» и «метафизичность» ее, а также и неумение обуржуазиться, безумная непрактичность и невнимательность к богатствам культурным и национальным, нежелание прочно строить дома свои, вечная выжидательная бродячестъ — все это имеет две стороны, внешнюю и внутреннюю. Внешняя довела нас вот до тех плодов, которые мы вкушаем сейчас со стола общественного «недоумения», — и с нею надо бороться, бороться всеми способами и средствами, которые рекомендуются «Вехами». Что до внутренней стороны, в глубь души нашей обращенной, то она могла бы послужить материалом для обширного исследования. Ведь если внешняя сторона довела нас до «тупика», то внутренняя привела к покаянию. Но именно для того, чтобы не тормозить дела покаяния, именно теперь, в настоящее время, о значении внутренней стороны — надо умолчать.

Западная интеллигенция не знает, что творит, ей чуждо ощущение греха, и потому в конечном счете она безгрешна. В нас живет ощущение греха. И уже благодаря этому ощущению и возникает в нас стремление к покаянию. Всякий, кто задерживает покаяние это сознательными средствами, — преступен и к самому себе, и ко всем нам, читателям, и к вехистам, вслух выговорившим то, о чем мы даже и думать страшились.

Перед тем как закончить, скажу несколько слов по поводу главной антиномии, намечающейся в «Вехах»: интеллигенция атеистична, интеллигенция религиозна. Да, это правда, и в этом, быть может, наиболее яркая и наиболее очистительная трагедия русской интеллигенции. Иначе сформулировать антиномию эту можно так: русская интеллигенция живет без Бога, но она не может жить без Бога. Живет — и не может жить. В этом коренном разладе и поглощаются все прочие антиномии, из него они и вытекают.

Грех наш в том, что мы избрали себе непрочное, непродуманное, несправедливое, условное, никому и более всего нам не нужное «во имя». Но и правда наша в том, что жить попросту, без «во имя», жить только *для* чего-нибудь, а не *во имя* чего-нибудь мы не можем. На Западе удовлетворяются этим *для*, мы им никогда не удовлетворялись, мы ищем то, во имя чего мы могли бы жить.

Для того чтобы прийти к Богу, надо не закрыв глаза, не мягкими и ласковыми дорожками, не художественно-идейными

соблазнами стягиваться к храму Божьему, надо посчитаться со своим прошлым, протереть себе глаза, принять в душу покаянный призыв «Вех». И тогда, не боясь горчицы, а наоборот, необходимо в ней очистившись, припадем мы к груди кормилицы — неизбежно придем к Богу.

И я от всей души за себя и за своих единомышленников благодарю «Вехи» и постараюсь у них научиться¹³.

*(Приазовский край. 1909. № 169.
29 (12 июля) июня. С. 1—2)*

